# Герман: Интервью. Эссе. Сценарий

**Автор:**
Антон Долин

Герман: Интервью. Эссе. Сценарий

Антон Долин

Кинотексты

«Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» – эти фильмы, загадочные и мощные, складываются в феномен Алексея Германа. Его кинематограф – одно из самых значительных и наименее изученных явлений в мировом искусстве последнего полувека. Из многочасовых бесед с режиссером Антон Долин узнал если не все, то самое главное о происхождении мастера, его родителях, военном детстве, оттепельной юности и мытарствах в лабиринтах советской кинематографии. Он выяснил, как рождался новый киноязык, разобрался в том, кто такие на самом деле Лапшин и Хрусталев и чего ждать от пятой полнометражной картины Германа, работа над которой ведется уже больше десяти лет. Герои этой книги – не только сам Герман, но и многие другие: Константин Симонов и Филипп Ермаш, Ролан Быков и Андрей Миронов, Георгий Товстоногов и Евгений Шварц. Между фактом и байкой, мифом и историей, кино и литературой, эти рассказы – о памяти, времени и труде, который незаметно превращается в искусство. В книгу также включены эссе Антона Долина – своеобразный путеводитель по фильмам Германа. В приложении впервые публикуется сценарий Алексея Германа и Светланы Кармалиты, написанный по мотивам прозы Редьярда Киплинга.

Антон Долин, Алексей Герман

Герман Интервью. Эссе. Сценарий. Книга А. Долина

Эффект Германа

(вместо предисловия)

За книгу о Германе, и тем более книгу интервью с Германом, браться было страшно. Сложный характер классика вошел в легенды, разговаривать с ним наравне невозможно – хотя бы в силу возраста… Помогло то, на чем построен каждый германовский фильм: воспоминание. Одно из первых по-настоящему сильных впечатлений из детства – от «Моего друга Ивана Лапшина». Тогда я понятия не имел, что это за кино: его показывали по телевидению и, вероятно, не в первый раз. Родители смотрели как приклеенные, я читал какую-то книгу, не обращая внимания на экран. Потом в какой-то момент мне сказали: «Смотри». И я увидел, как смутно знакомый щеголеватый человек, которого я знал по «Обыкновенному чуду», идет к другому, невыразительному, а тот называет его «дяденькой», и уже ясно, что вот-вот ударит в живот ножом. Ножа толком не видно, и кровь черно-белая, но невыносимо страшно – потому что ясно: это конец. Какова смерть? Ответ чаще приходит из кино, чем из жизни. Ответ «Лапшина» – веский, убедительный. Забыть его трудно – или вовсе невозможно. Сразу ясно: то, что чуть позже тот же «дяденька» на экране опять живой, – случайность, условность. Главное уже произошло.

Есть и фамильная история. Сплав фантастического гротеска и документальной реальности в картине «Хрусталев, машину!» позволил многим обвинить его в «невнятности». Странным образом не только автор картины, но и автор этих строк видят в этой картине не столько фантазию, сколько семейную хронику. Мой родной прадед, ученый и медик Александр Долин, работавший с академиком Павловым и бывший в Гражданскую пулеметчиком Котовского, в 1940-х был начмедом в крупном госпитале в Ленинграде. Согласно семейной легенде, во время «дела врачей» он уцелел чудом: ушел из дома на несколько дней, не сказав куда, и пришедшие его арестовывать спецслужбисты вернулись ни с чем. А потом умер Сталин.

Узнавание себя в фильме, как в зеркале, – эффект Германа.

* * *

Еще до начала интервью Герман предлагает заголовок для будущей книжки: «Шепот из подвала». Проблема в том, что на «подпольного человека» – ни в достоевском понимании, ни в каком-либо еще – Алексей Юрьевич похож меньше всего. Под его рассказ в голове возникает другое название, из другой эпохи: «Жизнь и мнения Алексея Германа, джентльмена» – как и стерновский Тристрам, он добирается до собственного рождения едва ли к середине многочасовой беседы. И то неохотно: ведь так многое еще не сказано о времени, о родителях, о событиях, при которых он не присутствовал, и людях, которых не знал.

Первый парадокс Германа – в том, что он может показаться человеком и художником, зацикленным на себе, лишь со стороны, и очень невнимательному наблюдателю. Себя он исследует с таким же тщанием, с той же въедливой мелочностью, что и эпоху: в его монографических сеансах психоанализа (авто)биограф – чаще врач, чем пациент. Время, как и разговор, дробится на мельчайшие частицы, Герман носится от одной крупицы к другой, пытаясь собрать их в единое, неделимое целое. А сам он, пресловутое «Я» художника, которое принято писать исключительно заглавной буквой, в этом времени, пожалуй, вовсе растворяется.

Книг, в которых режиссеры рассказывают о себе и своем кино, бесчисленное множество. Однако все они – вероятно, за исключением бергмановской «Laterna Magica» (но это все-таки монологическая проза, а не диалог: автор обращается к вечности, а не интервьюеру) – строго подчинены одному правилу. Биография в них – соус к основному блюду, а в центре внимания кино. Не обязательно секреты мастерства; это могут быть и смешные случаи со съемочной площадки: презренный жанр, якобы предпочитаемый журналистами, в реальности рожден самими киношниками. Никто не любит рассказывать о личном. Каждый предпочтет рассуждать о вечном, даже если эти размышления закамуфлированы под ненавязчивый треп. Герман – опровержение этого закона. Он может позволить себе заявить, что кино ему безразлично, а вот вспомнить случайную фразу, услышанную на улице, передать словами цвет чьего-то заношенного пальто, вспомнить лай соседской собаки – о, это совсем другое дело.

Перебить его невозможно. Встрепенувшись, он угрожающе или подавленно спрашивает: «Что, неинтересно?» – и недоверчиво слушает заверения в обратном. Кстати, было интересно. Каждая боковая тропинка, заставлявшая забыть о генеральной линии рассказа, открывала что-то неслыханное, за любым поворотом лабиринта поджидал сюрприз. Но невозможно и переломить

режиссерскую волю человека, рассказывающего о том, что важно ему, и категорически безразличного к выстроенному тобой сценарию разговора. Он признает только свои сценарии – даже если в титрах значится кто-то другой.

Герман очень похож на свои фильмы. Не найти лучшего воплощения германовской эстетики и этики, формального метода и философии, чем личность автора. Та же пристальность – дотошная до несуразности. Тот же парадоксальный юмор. То же сочетание высокого с низким, банального с необычайным. Тот же настойчивый, истерически-упорный поиск места, которое может – и должен – занимать в Большой Истории маленький человек. Идеализм. Фатализм. Проза факта. Поэзия подробности.

Рассказ Германа о себе – конечно, еще и роман. Владение словом (бесспорное, хоть и неочевидное в книге, записанной с голоса) – дело десятое. Куда существеннее умение увидеть человека в контексте, почувствовать и описать этот контекст, вписать героя в рамку… но так, чтобы рамка его не заслонила, не сделала слишком незначительным штрихом на монументальном фоне. Этот человек – Герман, но Герман условный, прошедший фильтры авторского сознания, вписанный в бесконечный сюжет. И, в точности как в классической русской прозе, богатство «второго плана», подчас загораживающего «первый», никак и никогда не заглушит одинокий голос человека. Это в кино Герман – неисправимый авангардист. В литературе он – адепт классической школы, пишущий и мыслящий кристально ясно, не допускающий лукавых двусмысленностей. Тот жанр, в котором он ведет рассказ о себе, – не кокетливый модернистский «Портрет художника в юности», а вечно актуальный «роман воспитания».

К кинематографу и литературе нельзя не прибавить живопись. Далекая средневековая планета из «Хроники арканарской резни» – отражение СССР и нынешней России; для Германа этот мир навеки погружен в кромешную тьму Босха. Мутанты и уроды бесконечно копошатся в Аду и не надеются пробраться на другой край Сада земных наслаждений. Румата – странная фигура из другого мира, обреченная на одиночество, как святые на босховских картинах, скорбно и недоуменно взирающие на окружающий ужас. Однако фильм по Стругацким все-таки ближе к макабрическому покою полотен Брейгеля Старшего, чем к кошмарным фантазмам брабантского прародителя сюрреализма. Брейгелевский фетишизм в отношении детали, неожиданный переход от грубости к нежности, от метафоры – к натурализму, и грязноватый северный снег вечной средневековой зимы – все это отразилось в «Хронике арканарской резни».

Летом 2003-го я побывал на «Ленфильме» на съемках картины. В тот день не было Ярмольника. Камера отрабатывала считанные движения – дублер героя полз по балке под потолком, потом спрыгивал оттуда и бежал несколько шагов к воротам. Так продолжалось целый день (возможно, процесс начался даже не накануне и завершился еще через несколько суток). Смотря на монитор, разглядывая остатки фрески на тщательной декорации черно-белого замка, я казался себе случайным гостем археологической экспедиции, раскапывающей средневековый шедевр, внезапно обнаруженный под вековыми слоями праха и пепла. Будто каждое движение дублера под прицелом камеры – ритуал, в результате которого количество перейдет в качество, и фильм родится.

Каждый фильм Германа притворяется хроникой, как и рассказанная им самим история жизни. Однако приглядись – и из-за хроникальной фактографии покажется картина мастера северного Возрождения, будь то Босх, Брейгель или вовсе неизвестный Мастер Какого-то Алтаря.

* * *

Имя Светланы Кармалиты появляется на страницах этой книги, вероятно, недостаточно часто – но именно потому, что с первой встречи Германа с ней и до сих пор почти каждое «я» легко конвертируется в «мы». Герман – коллективная творческая единица: пишем «один», в уме «два». Кармалита – не муза, она полноценный соавтор. Сценарист, редактор, наипервейший из ассистентов на каждом этапе производства фильма. Не только жена и подруга, соратница и защитница, не только товарищ в беде и радости, но неотъемлемый элемент творческого процесса. Тот элемент (возможно, единственный), без которого нынешнего феномена под названием «Герман» попросту бы не существовало. И для самого Германа она – та интимная частица жизни, в которую посторонним допуск закрыт. Их совместная работа, их творческий симбиоз – слишком личное, слишком важное.

Беседы с Германом происходили один на один, и все равно заслуга Светланы в появлении книги интервью с ним – неоценимая, непереводимая на язык слов. Она – ее первый читатель.

Незаменимый консультант по киноведческой части – Ирина Рубанова, автор самых точных и умных текстов о кинематографе Германа. Огромное ей спасибо.

Специальная благодарность Людмиле Каро, верному другу из Петербурга.

Интервью были записаны и расшифрованы в период с весны по осень 2010 года. Также в книгу включены фрагменты интервью Антона Долина с Алексеем Германом, публиковавшихся в изданиях «Газета», «Труд» и «The New Times».

Фотографии предоставлены на безвозмездной основе Сергеем Аксеновым и Геннадием Авраменко, редакцией журнала «Искусство кино», Музеем кино, а также Светланой Кармалитой и Алексеем Германом, открывшими для нас семейный архив. Мы признательны им за это.

## I. В рубашке и с петлей на шее

Счастье – Комарово – Отец – Фамилия – Сталин и Дзержинский – Откуда взялся «Хрусталев» – Родня – Сало – Архангельск – Американцы – Первое кино – Пожары – Театр – День Победы – Ленинград – Дело Зощенко и Ахматовой – Аресты – Квартира и школа – Мангобей и боксер – Воры и гопники – Проблемы

с дисциплиной – Бегство из дома

Первый вопрос Герман задает себе сам.

Я счастливый человек или нет?

Конечно, если взять для примера человеческое существо, которое бьют батогами, то в сравнении с ним я счастлив. Рядом с каким-нибудь несчастным зэком я – победитель; трудные времена я прошел легко. Дожил до 72 лет, приспособился к этому строю и государству, даже страну эту люблю. Наград у меня полно, значков всяких много, государственные премии. Вроде все хорошо.

С другой стороны, я себя ощущаю человеком несостоявшимся и, в общем, не получившимся. Несчастным. Почему, я понять не могу. Вот попал я в больницу с довольно неприятным диагнозом – вода в легких. Откачали, вышел, исчезла одышка. Но ощущение воды во всем теле осталось… Вообще я человек не сильный, подверженный депрессиям. Я всегда боялся, что моя жизнь закончится по моей воле – у меня и в семье полно самоубийств. Я растерян и одинок. Многие умерли, некому позвонить, и никому ничего в этой стране не надо. Жизнь прошла крайне глупо. Унизительно глупо.

Помните, когда ощущали себя абсолютно счастливым?

Недавно я два раза падал в обморок, связанный с диабетом, – и это счастье, будто тебя подхватывают огромные руки. Если смерть такая – жди ее! А раньше… Помню самое большое счастье в моей жизни, которое уже не повторится. Я в нашей бане ночью зимой читаю «20 тысяч лье под водой» – именно так, а не «80 тысяч километров под водой»!.. Я вообще читать начал очень рано, года в четыре, – но читал примерно «Черемыш – брат героя». А Жюль Верн начался позже, в Комарово. Поскольку я провел всю войну на Севере, мне дали справку, что я подвержен туберкулезу. Нам дали там маленькую дачку, которая до сих пор стоит. Поскольку папа тогда получил Сталинскую премию, дача у нас была по адресу «Комарово, дом 1». И телефон у нас был «номер один».

Мы там поселились, и это были очень счастливые дни нашей жизни. Был белый снег, которого больше никогда не будет. Был камень у ворот – на нем я узнал, что люди живут половой жизнью. Папа писал то, из чего мы потом сделали сценарий «Торпедоносцев». Был в Комарово магазинчик, был Дом творчества, из которого ходили к нам писатели: там телефона не было, а у нас был. Евгений Шварц тогда напечатал и повесил на нашем доме объявление с категориями гостей: «Гость, который пришел во время обеденного перерыва в магазине. Гость, пришедший позвонить…», а кончалось словами «Гости, как собаки, прыгают в окно». Все читали, хихикали – и сидели у нас часами. Ходил поезд, офицеры были пьяные и очень часто просили милостыню. Папа купил старую трофейную машину «Опель Капитан».

В Комарово было три комнаты и еще огромный сарай, где я однажды нашел каску с черепом. Было дикое количество клопов – они висели гроздьями. Их морили, потом мы переехали. Папа был еще военным: помню, потому что, когда у нашей маленькой собачки была течка, сбежались все комаровские собаки, и

одна из них укусила папу за ногу, а он стрелял в них из пистолета.

Друзья у вас там тоже были?

Товарищи были. Одного звали Вадим, другого – Адольф (еще довоенного года рождения), они были братьями. Их старший брат Лоэнгрин уже был в военно-морском училище. Кроме того, был Левка Косой. Мама Вадима и Адольфа была директором школы. Она всячески поощряла какие-то странные игры – думаю, артистизм мне привила именно она. Мы играли на тему той или иной книжки. Ходили, рядились в каких-то офицеров, говорили фразами из Каверина: я очень любил «Двух капитанов». А прочитав книгу, утром мчался к Вадику и Адольке или Левке Косому, им рассказывать, что прочел… Они потом читали эти книги и говорили, что они гораздо скучнее, чем я рассказывал.

В школу вы впервые начали ходить тоже там? Она не разрушила ощущения счастья?

Папа берег меня от жизни. Долго не отдавал в школу, учил дома. Физически я не был очень силен, а в школу пришел в конце третьего класса. Меня хорошо встретили. Сказали: «Сейчас ты посмотришь Москву». Поставили на четвереньки, дали кусочек зеркальца, накрыли пальто, и вся школа стала на меня писать. Я выскочил с ревом, и все мое учение полетело: я боялся и ненавидел одноклассников.

Учительница Валентина Ивановна при мне познакомилась с пожарным Димой, который ее потом страшно избивал. Она нарочно мне ставила плохие отметки, чтобы папа ее нанимал делать со мной уроки. Ей очень были нужны деньги. В один прекрасный день я получил две двойки, а папа тут же приехал в школу и все проверил. Получился жуткий скандал: выяснилось, что я все знал назубок. Папа спросил: «За что вы ему поставили двойки?» Она ответила: «За фразу “По степи катятся реки”. Реки не могут катиться!» «И за это – двойка? Ведите себя прилично, мадам! А то будете работать на железной дороге». И я моментально стал отличником.

Ваш отец Юрий Герман – главный пункт любого вашего интервью, да и любого высказывания вообще: человек, без которого невозможно до конца понять ни один ваш фильм, ни биографию.

Он был, может быть, лучшим человеком, которого я встречал на свете. Для меня – самым лучшим. У него были недостатки, он мог оказаться жестоким или несправедливым, но в нем было что-то высшее. Он, например, всегда стеснялся, что богат, и всем рассовывал деньги. Когда он умирал, не допускал ни меня, ни маму ни до уток, ни до тела: у него лежала большая пачка денег, и за каждую процедуру он давал по двадцать пять рублей шоферу: допустим, за то, чтобы утку вынести или дерьмо отнести в сортир. Тот был счастлив. Я сидел в коридоре, и лишь один раз мне удалось вынести утку, когда он был в забытьи. Это одна из удивительно мужских черт, которая мне не дана – я бы такого не выдержал. Последние его слова, которые я слышал, были: «Что же вы, дети, спать не идете?»

Папа вообще был удивительный человек. Бабы падали к его ногам, как ноябрьский виноград. Однажды при мне один пьяный человек хотел зарубить собаку, которая сидела на цепи. Она бежала вокруг дерева, цепь наматывалась. Милиционер прибежал с пистолетом: «Петров, вот я тебя! Петров, стреляю в воздух!» Вышел мой папа – он был тяжелый, драчливый, у него был очень сильный удар. Он подошел к этому мужику с топором, развернулся и хряпнул его по роже так, что тот в дерево врезался. Взял топор, поплевал на него, обрубил собаке цепь, выбросил топор и пошел домой.

Другая была драка здесь, в Ленинграде. Отец избил спецкора «Известий». Был чей-то юбилей, и там плакала Сильва Гитович. Папа спросил: «Сильвочка, что случилось?» Оказалось, один человек к ней подошел и сказал: «Я бы вас пригласил, но принципиально не танцую с еврейками». Папа подошел к этому человеку и стал его страшно бить. А юбиляр бегал вокруг и кричал: «Юра, не волнуйтесь, я за все заплачу!»

Потом папа умудрился навернуть по роже чемпиону СССР, майору; тот папе в ответ сломал ногу – одним ударом. Папа никогда не стал бы сам звонить в милицию, но редактор Светлана Пономаренко позвонила папиному другу, генералу милиции Соловьеву. Тот прислал адъютанта, который был в штатском. И папа совершил страшную ошибку – привалил пару раз и адъютанту. После этого моя знакомая по тюрьме «Кресты» говорила, что его не могут сфотографировать: чем ни мажут, не могут, так он избит! Потом сам папа нанял этому человеку адвоката. И все равно генерал-лейтенант Соловьев с папой не здоровался еще месяца три.

Вернемся к началу. Откуда вообще взялась фамилия «Герман»?

Родословная у меня очень путаная. Отец происходил из странной семьи. Его прадед был подброшен в семью русского генерала в Варшаве. Там был крестик и кулек с ребенком. Этот генерал прадеда воспитал, отдал его в кадетский корпус принца Ольденбургского, но своей фамилии не дал. А дал фамилию Герман: в Восточной Европе эта фамилия значит «божий человек». Распространенная фамилия. Бывает она с двумя «н», это обозначает дворянство, бывает с одним. Моя – с одним. Дальше воспитанник этого генерала окончил курс и стал полковником… по другим данным, генералом.

Отец – Юрий Герман. 1920-е годы

Мать – Татьяна Риттерберг (фото вверху – в центре)

Об этом рассказывал мой отец, который вруном не был – но был восхитительным фантазером, преувеличителем. Он мне рассказал много американских картин, потому что был спецкором ТАСС на Северном флоте, и там им иногда крутили голливудские фильмы. Потом так случилось, что некоторые картины мне удалось посмотреть: то, что он мне рассказал, было на десять голов интереснее и на двадцать голов художественнее. Поэтому я не знаю, был прадед полковником или генералом. По данным отца – генералом, по данным его двоюродного брата, хорошего французского художника Константина Клюге, – полковником. Он был начальником воинской губернии Кеми. Мы пытались туда съездить, что-то раскопать, но там ничего не осталось. Знаю только то, что его расстреляли матросы, когда он поехал в Кисловодск.

Моего деда Павла Николаевича Германа я всегда помнил очень толстым и лысым. Но он был офицер конной артиллерии и не мог всегда быть толстым и

лысым! От смерти его спасла именно толщина. Из-за нее его в последние годы революции перевели на службу начальником санитарного поезда. Его начальнику солдаты на глазах папы приколотили погоны к плечам гвоздями. Бабушка, Надежда Константиновна Игнатьева, была из дворянского рода. Наверное, они прожили страшную жизнь. Были чудовищные ультрапатриоты, потому что папу взяли с собой на фронт, когда ему было четыре года. У него была своя лошадь по имени Орлик, и он был при батарее. После этого папе надо было как-то делать свою биографию в этой стране: ведь дед – офицер, бабка – дворянка. Он стал писать, работал металлистом на заводе, потом некоторое время учился в театральном институте, где позже учился и я.

В годы вашего детства он уже был знаменитым писателем, одним из фаворитов Сталина?

Он был на вершине славы. Его в начале 1930-х поставил Мейерхольд – и, хотя Мейерхольда уничтожили, шлейф тянулся. Он написал сценарии нескольких картин, одна из них называлась «Семеро смелых».

А началось все, когда он сидел в парикмахерской. К нему вошел его пожизненный друг Лева Левин и сказал: «Ты тут сидишь, дурак, и не знаешь, что на тебя свалилась слава!» И протянул ему газету, где был абзац Горького – мол, из этого человека может получиться хороший писатель. Папу пригласили к Горькому. Он жил у Горького, тот учил его писать.

Горький никогда папу не унижал, был к нему ласков, а тот очень его не любил и презирал, хотя мало к кому так относился. Не знаю, почему. Может, дело в запахе страха, который чувствовал папа? Если на собаку набрасывается другая, которую она боится, то от собаки пахнет страхом. Некоторые утверждают, что и львы набрасываются только на тех, кто пахнет страхом. А на бесстрашную антилопу не бросится…

В гости к Горькому приезжали Сталин и Ягода. Именно тогда папа попросил Ягоду за деда, чтобы того не сажали. Ягода написал маленькую бумажку, и деда не тронули никогда – даже после смерти Ягоды, Ежова и Берии. Видимо, его фамилия перешла из одного ящика в другой. Такая же история описана у Шаламова: какая-то лагерная проститутка, которой он помог, будучи фельдшером, работала машинисткой и приписала в деле одну букву. «Д» вместо «Т». «Т» не мог выйти, а «Д» – мог. И он вышел.

Самое стыдное – то, что папа тогда обожал Сталина. Был в полном восторге. Говорил, что обаятельнее фигуры он не видел. Находил он что-то и в Дзержинском, увлекался. Ему тогда позволили писать о Дзержинском, и он писал… все выдумывал, потому что материалов не было никаких. Вроде того, как тот съел свою чернильницу, как в Швейцарию выезжал в 1919 году. Папа же раскопал, что Дзержинский выступил против планов коллективизации; папа первый получил документы о том, кто посадил Мейерхольда, статуэтка которого всю жизнь стояла у него на столе. Мейерхольда посадил артист М. – папа держал в руках его донос о том, что Мейерхольд в Париже встречался с Седовым, сыном Троцкого.

В 1957-м вышел из тюрьмы шофер Дзержинского. И папа, который напридумывал про Дзержинского, что тот, хоть и палач, и кровавая сволочь, все же был движим великой идеей сделать новое человечество, помчался к шоферу. Приводит его в «Асторию». У шофера зуба ни одного нет, яйца, я думаю, отбиты, и он говорит: «Ну что, товарищ писатель. Записывайте. Помню как сейчас…» – и рассказывает все рассказы папы наизусть, с запятыми! Он мог только папины рассказы рассказывать. Ему дали их в зоне, он их выучил, а сидел он года с 1936-го. За двадцать лет можно выучить.

Угроза ареста над вашим отцом не нависала никогда? Ведь, кажется, именно из этого страха произошел «Хрусталев, машину!»?

В «Хрусталеве» я решил представить, что было бы со мной, если бы папу посадили, а нас с мамой переселили бы в коммуналку. Это фантазия, сон, наш ужас. В этом страшном сне мы были достаточно беспощадны к самим себе, и к любимой моей матушке, и к бабушке… Вы же понимаете, что я не был стукачом, что это фантазии. Мама была из очень богатой купеческой семьи, и она вряд ли смогла бы такое пережить. Но, естественно, я не мог написать себя хорошим. Тогда мы придумали, что мальчик будет доносить на папу. Этого никогда не было! В отличие от ситуации с Линдебергом – тем шведом, который возникает в начале фильма.

А возник он следующим образом. Мы с Андреем Мироновым выступали в Финляндии, куда ездили с «Лапшиным». Я выхожу к набитому залу и говорю: «Здесь, в Хельсинки, преподавал в университете русскую литературу Сергей Александрович Риттенберг. У него был друг по профессии Линдеберг. Мне очень важно получить о нем хоть какие-то сведения. Например, портрет». Я знал, как пьяный Линдеберг приходил к нам домой, но не помнил, как он выглядел. Когда

я пришел в гостиницу, там меня ждал брат Линдеберга, который отдал мне огромную пачку писем – переписку Линдеберга и Гули, как у нас в семье называли Сергея Александровича – моего дядю.

Эти письма дали нам очень много. Мы узнали, что именно Гуля попросил своего приятеля Линдеберга – тот был левым, социалистом, а сам Гуля был монархистом – узнать, жива ли мама. Линдеберг как раз ехал в Советский Союз. Он напился и вместо того, чтобы тихо все разузнать, явился к нам домой в три часа ночи, считая, что за ним никто не следит. В фильме генерал спускает его с лестницы – так вот, это действительно случилось в нашей квартире на Марсовом поле. Помню, горел газ, кипело белье и сидели очень напуганные папа и мама. Было начало 1950-х. Гуля умолял Линдеберга не появляться у нас дома, он просил просто узнать, жива ли Таня и кто ее муж! Но тот в результате приперся к нам… Оттуда я и запомнил фразу папы, попавшую в фильм: «Трудная у тебя работа, бьют иногда».

Выходит, в сталинское время часть вашей семьи жила за границей, в Европе?

Мой дед по материнской линии был известный адвокат и, кажется, защищал на процессе Зиновьева. Была богатая семья – лошади, свой участок на Финском заливе. Детей было трое: Наташа, моя мама Таня и Сергей Александрович – Гуля. Был еще один дядя, который застрелился, потому что его не приняли в Морской корпус: не было трех поколений христианской крови. Из-за этого застрелиться, разве можно себе представить? А Гуля пошел записываться к Врангелю, очень торжественно – на площади стояли столы, играл оркестр. Они поехали воевать вместе с Вадимом Андреевым. Тот уехал раньше, а у Гули была грыжа… Когда он был на полпути на фронт, Врангеля разбили. Но вернуться он уже не мог.

Гуля стал профессором филологии в Хельсинкском университете, потом работал в двух университетах в Стокгольме. Был другом Берберовой. Помню, как он приехал в СССР в 1956 году. Тогда он мне показался каким-то шутом… Он был великолепным знатоком литературы и поэзии. В Русском музее принялся посетителям рассказывать про «Заседание Государственного совета». Собралась толпа, человек сто. Пришел директор музея, пригласил Гулю в свой кабинет, налил чаю, спросил: «А вы кто?» «Я – шведский подданный». «Я вас очень прошу, – сказал директор, – рассказывайте все мне. Мы не можем доверить шведскому подданному проводить экскурсии по Государственному Русскому музею».

Гуля был прелестен, наивен, добр. Он был не наш, не совковый. Например, громко восхищался тем, что в нашей стране есть единственное потрясающее достижение – у нас мало машин! Как его ни одергивали, он обязательно об этом говорил вслух. Кстати, сейчас мы понимаем, что он был прав… Гуля – персонаж «Хрусталева».

Каких еще персонажей этого фильма вы помните из детства?

В «Хрусталеве» есть две девочки, Белла и Лена Дрейден, которые живут в нашей квартире: так вот, это дочери моего дядьки. Муж сестры моей мамы был главным инженером завода «Севкабель». Тяжелый, неумный человек, технарь, он не признался ни в чем. И выжил. А в одной камере с ним сидели те, кто работал в реальной бригаде Лапшина: посадили каждого – были они василеостровские немцы. Того, кого играет Миронов, звали Стенич: он ползал по камере с перебитыми ногами. Это он научил всех говорить о себе любые глупости: «Я продал японцам тормоз Матросова». Будет суд, все засмеются, и всех выпустят. Но суда не было. Их всех расстреляли. Кроме моего дядьки.

Беллу и Лену я не с большой любовью изобразил. Они думали, что их удерживают в нашем доме насильно. А их папа и мама жили на Печоре и по утрам собирали куропаток вдоль железной дороги. Они были зэки – полурасконвоированные, потому что дядька был крупный специалист. Тогда, после войны, концлагеря перешли на хозрасчет, инженеров стали подкармливать и выделять. Белла и Лена у нас жили и ненавидели маму, которая не отпускает их к родителям. А ведь они бы там умерли, на зоне.

Когда я через много лет приехал в Америку, мне сказали, что меня дожидаются Дрейдены – после просмотра «Хрусталева» на кинофестивале в Сан-Франциско. Оказалось, что это дети Беллы и Лены! Богатые, у них свои дома, нас обожают; один – профессиональный боксер, другой – деловой человек. Я боялся, что они будут плохо говорить о маме, как когда-то девочки: «Мы вас ненавидим, тьфу на вас!» Нет, они нас благодарили, везде возили, были очень милы. Приятно иметь в Америке родственника-боксера.

От Стокгольма до Сан-Франциско – обширная семейная география.

Еще у папы было два двоюродных брата, отец которых, полковник Генерального штаба, был начальником штаба у Унгерна – от которого он бежал, когда тот

сошел с ума. Мама их умерла, отец женился на какой-то полутуземной княжне: замечательная женщина, картежница. Она их вырастила. Один стал художником, второй – преподавателем математики во французском лицее.

Кроме того, были две двоюродные сестры, Светлана и Наташа, была тетя Оля, родная сестра моей бабушки, очень красивая и очень злая. Она была замужем за очень известным адвокатом. Они бежали от большевиков и жили в Таллине. Ее называли там «француженкой», хотя она была Игнатьева: все потому, что она преподавала французский язык.

Папа вступал в 1940 году в Прибалтику и успел каким-то образом проскочить в Эстонию и предупредить тетю Олю и ее мужа, чтобы те драпали – чтобы только не ждали наших. И она успела убежать, а муж Миша замешкался. Его расстреляли. Тетя Оля потом жила приживалкой в Стокгольме, и шведка оставила ей все в наследство. Помню, когда она приехала, папа показывал ей хрущевское строительство, а она ответила: «Хорошо, Юра, а почему вы думаете, что всего этого вам не построил бы царь? Ведь все остальное он вам неплохо построил». Я захохотал… Вот и все, что о ней помню.

Еще в Америке живет моя сестра Марина – дочь моей мамы от первого замужества, брака-мезальянса.

Расскажите о жизни вашей матери до знакомства с вашим отцом.

Леонид Андреев жил на Черной речке. Был у него сын Вадим, который позже писал, что уехал из-за девочки, в которую был влюблен – она не ответила ему взаимностью, и тогда он ушел к Врангелю, чтобы умереть… Так вот, та девочка была моя мама.

Семья мамы уехала за границу вскоре после революции. Когда они выезжали, никто не верил, что большевики – это надолго, и бабушка Юлия Гавриловна всем давала в долг. А вернуть никто не мог. В результате они продали дом, переселились в дом садовника. Тот на самом деле был большевик, который скрывался у них на даче под видом садовника. Он и устроил потом их переезд в Советский Союз, в начале 1920-х. Маму тут же посадили. Ей было пятнадцать лет, вошли три человека и увели ее. Времена были еще нэпмановские, и ее выпустили через сутки.

После этого, чтобы устроиться в медицинском институте, мама бешено стала устраиваться еврейкой – евреев тогда брали, а русских нет. Доказать было трудно, и помогла взятка. Обратно устроиться русской в 1949-м она уже не смогла. А тогда, в 1920-х, ее приняли на медицинский факультет. Там она училась с безграмотными людьми, учила их читать-писать, а одновременно обучалась медицинскому мастерству. Тогда она и вышла замуж впервые…

Несмотря на такой «компрометирующий» факт, как родные за границей, ваш отец осмеливался нелегально держать в квартире детей «врага народа». Очевидно, чувствовал себя очень защищенным…

Некоторое время папа был членом Ленсовета. У него была личная машина, которую он купил – машины и были в Ленинграде только у Алексея Толстого и у папы. Когда друга моего папы Левина исключили из Союза писателей, а его квартиру опечатали, папа пошел к Толстому. Тот вывел папу на лестницу и сказал: «Юра, это такие страшные бандиты! Я покрываюсь потом, когда их вижу. Пожалуйста, не просите меня ни о чем. Я к ним близко не подойду. И гоните вашего еврейчика с дачи». Они не были близкими друзьями, но, видимо, что-то человеческое даже в такой фальшивой фигуре, как Толстой, все-таки было.

Левин тогда действительно жил у папы на даче в Александровском. Дача была двухэтажная. На первом этаже жили папа и беременная мама, там же жил в каком-то закутке Лева Левин. А второй этаж занимал секретарь партийной организации Союза писателей. Он тоже сказал папе: «Слушай, Герман, гони ты этого еврея, он враг». Но папа никого не прогнал. Однажды ночью мама их разбудила и говорит: «Пришли люди со свечками (так штыки назывались), но они наверх». Всю ночь был обыск у секретаря партийной организации. Наутро его увезли.

Ваш год рождения – самое страшное время сталинского террора.

Я родился в 1938-м и сразу угодил в гигантские неприятности. Собственно, они начались еще до рождения.

Папа и мама тогда не были женаты, жили в Одессе. Мама забеременела, был 1937 год. Всех вокруг сажали. Папа тоже этого ожидал, хотя у него орден Красного Знамени. Папа прижимал беременную маму и говорил ей шепотом: «Я не верю, что они бьют людей! Посмотри, какие прекрасные мальчики!»

Только не хватает в 1937 году родить ребеночка! Мама пытается от меня избавиться – ведь аборты запрещены… Она прыгает с высокого шкафа, поднимает тяжести, таскает ведра с водой, падает на живот. В России беременных женщин били по животам, выгоняли нищенствовать на улицу – и примерно в такую ситуацию угодил я, когда моя мама пыталась от меня избавиться. Редко кто рождался в таких условиях, как я. Когда я себя представляю, то воображаю огромный дирижабль и крошечное существо, которое в него вцепилось руками и ногами, не желая вываливаться. Хотя, может, если бы я вывалился, все было бы попроще…

Но маме позвонил папа и сказал: «Знаешь, если мы от него избавимся, ничего у нас вообще не получится. Давай его оставим». Я уже еле цеплялся, две руки, ногу и хвост отцепил, но меня оставили рождаться. Так и умудрился родиться – в рубашке и с петлей на шее.

Папа после моего рождения пришел в аптеку и попросил все, что можно, – целый ящик. Ему нагрузили целый ящик, и он пришел с ним в «Детгиз». А там все хихикали, потому что – он не заметил – на ящике было написано: «Презервативы, сто тысяч штук».

Какое ваше самое раннее воспоминание?

Что же я помню первое из детства? Огромную, как лошадь, собаку – была у нас такая. Папе предложили взять ее в угрозыске, поскольку эту собаку никак не получалось озлобить. Он взял. Мы тогда жили в Финляндии, папа ее очень любил. А потом началась война, и ее забрали в спецприемник. Думаю, она нашла свою мученическую смерть. Или ее съели, или бросили под танк, привязав к ней гранату. Причем привязывали плохо, и танки просто давили собак, а гранаты не взрывались…

Помню серое перепончатое большое окно. Помню огромный кусок дерева, который пытаюсь нести. А потом сразу помню, как мы едем в поезде, открыт большущий чемодан, и мама всех угощает салом. Что же такое было это сало? Мой отец поехал в командировку в Таллин. 21 июня 1941 года. Через сутки он вышел на вокзале в Таллине, пошел в ресторан. Заказал себе кофе, омлет… и услышал о начале войны. Доел, пошел в кассу – купил билет и поехал в Ленинград. Когда он ехал, с крыш уже стреляли из пулеметов. Бежали энкавэдэшники из деревень, глубинка Эстонии вовсю полыхала восстаниями.

Папа приехал, домой не пошел, а пошел на рынок и там за большие деньги купил огромный чемодан с салом. Он был дитя первой империалистической войны, голода и революции. Приехал, пошел в военкомат и отправился в Севастополь. Его сын от первого брака, мой брат Миша, отправился в писательский лагерь, а нас с мамой он отправил в Архангельск. Какие там у него были связи, я не знаю. Очевидно, издательские. Помню темный вагон, темные старушечьи руки, и маму, которая раздает сало, повторяя ошибку бабушки.

Некоторое время мама работала детским врачом. Потом прилетел папа, разорвал в клочья ее военный билет и сказал: «У тебя двое детей, если тебя заберут на фронт, они умрут. Я все беру на себя». Наверное, тогда он нас спас.

Вы жили в Архангельске все вместе, семьей?

В момент переезда мне было три года. Отца перевели спецкором на Северный флот. Он плавал на корабле «Гремящий»… все мое детство продавался игрушечный крейсер «Гремящий», у меня их было штук сорок. Легендарное судно, почти как «Варяг». Вот фотография, 1942 год: Гурин – будущий адмирал, герой Севера, командир «Гремящего», рядом мой папа, а это я. Папа плавал, начиная с 1943 года, из Полярного в Архангельск: один из самых опасных маршрутов в мире. Ходили гигантские корабли, а немцы туда бросали огромное количество подводных лодок.

Перед войной у папы вышли «Лапшин», «Жмакин», «Наши знакомые», «Рассказы о Дзержинском»… Все зачитывались. Хотя он не был членом партии. Поэтому в Архангельске мы жили не так, как советский народ. Мы жили, как жила элита, в «Интуристе». У нас был маленький угловой номер, но был завтрак – утром яичница и чай! В принципе, там жили иностранцы. Помню окно, а под окном во дворе – большой вырез в асфальте, где были крысы. Поэтому туда всегда было интересно смотреть. Потом только по этой дырке, уже зацементированной, много лет спустя я отыскал тот номер, в котором мы жили. Сейчас уже нет больше той гостиницы: ее снесли. Говорят, на ее месте – что-то величественное из стекла.

Папа не жил в Архангельске, он приезжал. Когда это случалось, торжественно снимали тугую здоровенную, крашеную белой краской пружину на лестнице – чтобы дверь не хлопала и давала папе отоспаться. Наш крошечный номер был как раз у этой лестницы. Одно время в номере была горячая вода и душ. Тогда у нас толпились знакомые или вовсе малознакомые эвакуированные семьи, и

сильно пахло керосином: им выводили вшей.

Один раз я видел ссору мамы с папой. Папу, уж не знаю за что, наградили двумя бутылками водки. Папа размечтался, кого из друзей позвать, мама железным голосом заявила: «У детей нет валенок». Накануне у кого-то болел живот, и роль грелок исполняли две бутылки с горячей водой. Утром мама пошла в душ их выливать, и оттуда раздался стон. Мама спутала и вместо бывшей горячей воды вылила драгоценную водку – валенки, сбор друзей и все прочие планы. Ссоры как таковой, впрочем, не было. Папа молча надел шинель и ушел часа на два, а мама стала объяснять мне про бутылки. Она поняла, что творит, когда почувствовала носом, что льет.

Что вы помните о военном Архангельске?

Архангельск не был спокойным городом. Когда ты шел по Архангельску, проходящие мимо люди говорили: «А вас, жидов, скоро немцы повесят». Или «вас, московских». Могли даже громко крикнуть. Немцы тогда еще далеко были. Ненависть возникла вместе с эвакуацией – в основном с эвакуацией львовян, которые были богаче и страшно вздули цены.

Слева направо: Юрий Герман, Алексей Герман,

капитан эскадренного миноносца «Гремящий» Антон Гурин. 1942 год

«Папа плавал, начиная с 1943 года, из Полярного в Архангельск:

один из самых опасных маршрутов в мире».

Военкоры Северного флота Александр Марьямов,

Юрий Герман и кинооператор Михаил Лифшиц. 1943 год.

Все время маршировали солдаты в большом количестве, и они были в обмотках. Те разматывались, солдат бежал за ними, прятал в карман. Я очень удивился, когда впервые увидел на солдате сапоги. Помню лошадь, запряженную в телегу. Я спустился, сел на телегу, взял вожжи и зацокал. Лошадь пошла, телега поехала за ворота. Мне было года три-четыре. Я жутко испугался – прыгать на ходу было страшно, боялся попасть под колеса. Мы едем через весь Архангельск, я прощаюсь с жизнью: может, она меня к немцам везет? Может, она вообще немецкая лошадь? А все смеются вокруг. Как и где меня сняли, я не помню. По-моему, лошадь увезла меня из Архангельска в конюшню. Меня доставили обратно, мама счастливая, мне дали что-то съесть вкусное. Помню, я услышал, что сестра идет по коридору, и сказал: «Можно я спрячусь за дверь, а когда она войдет, выскочу и зарычу?» Вот тогда меня выдрали.

А позже я утонул в рытвине, которую нарыли грузовики. Неглубокая, сантиметров сорок, но я помню, как утонул.

То есть от смерти вас каждый раз все-таки спасали. В вашем описании Архангельск – место исключительно романтическое. Что еще сохранилось в памяти?

Помню, как у меня украли краски в тюбиках, которые мне подарили в издательстве, и я плакал. Помню поваренка, от которого зависело, сколько жира он кому положит в яичницу. Помню, как кричали дети, которых посылали за кипятком – они обваривались. Помню, мы ходили смотреть, как ходят юнги с американских судов. Они ходили, качая плечами, они преодолевали качку! Шел мальчик в военной форме и качался, будто он на палубе парохода «Дункан». Это вызывало такой восторг в душе!..

Их было очень много, американских матросов. Их называли «потопленцы» – те, кого по дороге в Архангельск торпедировали. Их вылавливали, и они категорически отказывались плыть обратно тем же маршрутом: требовали отправки через Владивосток. На Владивосток была очередь. Вот гостиница и была набита этими «потопленцами». Они ходили на высоких каблуках, многие

купили гитары, многие торговали: дверь номера была открыта, а внутри на письменном столе стоял рис и другие продукты.

Помню Вовку Масленникова. Он меня надоумил, и я в свои четыре года в уборной учил американских матросов мату. Журчала вода, было чисто. Они приходили по два-три человека, учили и записывали: хотели научиться самому главному в России. За подношения, конфету или вафлю. «Не “ё” твою мать, а “ёб”!» – учили мы их. Они были «латинос» в основном. Может, плоды моих трудов в Вирджинии или Лос-Анджелесе через какого-нибудь дедушку поселились в Америке? «Ёб твою мать», «Пошел на хуй». Я не мог только понять «отсосешь», но в остальном был мастером своего дела. Потом мы были пойманы, выдраны, и наша деятельность ушла в подполье.

А однажды мне довелось побывать на настоящем корабле – на том самом «Гремящем».

Как это произошло?

Я помню, что в порт мы ехали на машине Додж 3/4: что это такое, я не знаю, но в памяти засели волшебные слова «Додж три четверти». В каюте командира корабля я ничего не запомнил, кроме шикарного ковра. «Два чая! Погорячее что, не бывает? И рафинада!» – крикнул командир корабля, не похожий на командира. Потом вошел совсем молоденький старшина, и командир таким же голосом велел показать мне судно. Мне было года четыре с половиной. Мы зашли в пушку, то есть в орудийную башню, и старшина, сам меня стесняясь, стал рассказывать о приборах. Я запомнил только слово «дальномер». Потом вдруг спросил, называя меня на «вы», до скольких я умею считать. Я умел считать до десяти, но почему-то заробел и сказал, что до пяти. А потом мне принесли Пампушку – жившего на корабле кролика – и капусты для него. Этот Пампушка невероятно смешно бегал по трапу и не боялся главного калибра.

Много лет спустя под такой же пушкой расположилась бригада ленфильмовских звуковиков: тогда снимался фильм Володи Венгерова «Балтийское небо». Их с криками прогоняли, объясняя, что их сдует за борт. Звуковики не сдавались: они открыли иллюминатор в каюте и оттуда на длиннющей алюминиевой палке выставили микрофон. Пушка выстрелила, и они втащили в каюту огрызок палки в метр, а дорогущий венгерский микрофон улетел в темные балтийские воды вместе с остатками палки.

Кстати, именно в Архангельске я впервые попал в кино.

Что это был за фильм?

«Пиноккио». Первое кино, которое я видел. Это было в интерклубе, у англичан. Помню, там вырастал у него нос, уши: я устроил такой ор, что меня унесли! Не очень вышло с кино. Еще помню, как ходил в кино несколько позже. Тогда в Архангельск приехал папин друг – молодой, румяный летчик в орденах. Меня с ним отправили в кино, совсем какое-то детское, где носы не растут. Твердо помню, что мы в кинотеатре идем в буфет, и летчик мне говорит: «У меня к тебе просьба. Не мог бы ты сегодня вечером меня называть папой?» Что это было? Мама папе изменить не могла, она точно с ним не крутила роман! Там не было никаких баб… Я часто об этом думаю. В этом была какая-то тоска вселенского масштаба. То ли у него погиб ребенок, то ли не получилось его завести. Я на его просьбу согласился, но папой так ни разу и не назвал.

Ребенок, которого воспитывает чужой папа, в «Торпедоносцах» – это я. Потом об этом я рассказал Светлане, с которой мы писали сценарий. Я ведь вообще никогда не пользовался воспоминаниями или дневниками других людей. Только своими. Еще слушаю воспоминания Светланы…

Вы провели в Архангельске немалую часть военного времени.

Все, кто там жили, называли Архангельск «доска-треска-тоска». Город был деревянный. Не только дома деревянные, а мостовые, улицы. И огромные склады дерева вдоль Двины. Когда Архангельск довольно внезапно начали бомбить, все это запылало, и жить там стало очень опасно. Мы переехали на Кузнечиху, на окраину города. Помню бомбежку. Мама ушла, я остался один и вышел на улицу. Горела мостовая, горели тротуары, горели дрова, небо было абсолютно красным с черными прожилинами. Полыхало все. Я вернулся и залез под кровать. Через час прибежала мама: она купила переднюю ногу лошади и ее волокла, не могла бросить. Мама выменяла ее на платиновые часики.

Это были страшные пожары. А я потом видел еще немало пожаров в России! Следующий пожар, который произвел на меня впечатление, помню из времен выбора натуры к «Проверке на дорогах». Машина опрокинула забор, и тушили дом. Там визжали, кто-то погибал – одновременно люди срывали ягоды и яблоки, утаскивали с участка и ели. На меня это произвело жуткое впечатление.

Другой пожар был в Сосново. Я поссорился со Светланой, решил уезжать в Ленинград. А там полно было гаражей. Смотрю, один гараж открыт, там сидит художник Соловьев, а рядом его знакомый экспедитор. Они сидят, нажарили капусты. Явно закончилось горючее. И тут бог послал меня – я появился будто в лучах солнца. Спросили, есть ли у меня деньги, помчались, купили. Сидим, выпиваем и вдруг слышим, как над нами что-то шикнуло – началась как раз гроза. Мы продолжаем сидеть и выпивать, гроза ширится. Вдруг врывается маленькая кривоногая женщина, переворачивает столик с портвейном и кричит страшным голосом, чтобы мы выпрыгивали вон. Мы выскакиваем, как Иона из чрева кита, и видим, что на нашей крыше пятиметровое пламя! Линия высоких передач упала нам прямо на крышу.

Одновременно метрах в четырехстах горела прокуратура. Горела чудовищным черным пламенем. Еще финская была постройка, бревенчатая. Все небо было в каких-то бумагах. Бегал сосновский прокурор с пистолетом и кричал: «Застрелю! Тушить прокуратуру!» Но пожарные приехали тушить гаражи пьяные в стельку: получали деньги за то, что отдавали шланг хозяину гаража. Я тогда был горд, что соединился с моим народом – спас на пожаре две драные раскладушки, какие-то колеса и засранные матрасы.

На этом история не кончилась. Страшные старухи в этом дантовом аду прыгали на запредельную высоту, как во сне: ловили листки бумаги. Летом ты мог прийти на вокзал и купить стакан клубники. А развернув бумагу с обгорелыми краями, в которую были завернуты ягоды, мог прочесть целое дело: «…И тогда, возмущенный этими несправедливостями, я действительно взял, но не топор, а рейку, и три раза ударил ее по спине, а что там у нее с почками, она давно жаловалась…»

Вернемся в Архангельск – или уже в следующий пункт назначения?

Мы уехали из Архангельска в деревню под названием Черный Яр. Там была такая Тася – возможно, любовь папы в былые времена. Она была прелестная, мы ей платили. Еще у папы был друг – морской офицер Татарбек Джатиев. Папа прислал нам сало. Татарбек приплыл на каком-то корабле из Полярного и тридцать километров ночью шел пешком до нашего дома. Принес сало, полчаса поспал и пошел обратно на корабль. После войны он поджег дом кровника у себя на Кавказе и сел в тюрьму. Папа был в ужасе, куда-то писал и обращался, но вряд ли мог кого-то спасти. Был этот Татарбек абсолютно интеллигентный, прекрасный человек.

Еще помню, к нам бегали переводчицы: кто пописать, кто поболтать с женой известного писателя. Их всех потом посадили. Они стали появляться у нас дома в 1956 году – страшные опухшие тетки, тяжело шагающие старухи. Всех, кто работал с англичанами и американцами, посадили.

А еще был Валя Стариков – Герой Советского Союза, красавец, капитан первого ранга. Когда умер папа, он считал своей обязанностью обо мне заботиться: приезжал, что-то привозил и умолял меня быть осторожным с этой властью. Он сказал: «Леша, я – Герой Советского Союза, про меня выпущено несколько книжек. Тебя не смущает, что я капитан первого ранга? Такого ведь не бывает! Так вот, дело в том, что во время войны английские офицеры сказали мне: “Стариков, вы Герой Советского Союза, а ведь не рискнете зайти к нам в миссию выпить кофе!” Я был выпимши, зашел к ним. Выпил кофе. Головко на меня орал так, что я думал, что он треснет. И отправил меня во время войны в отпуск на три месяца, просто чтобы меня не посадили. С тех пор на мне эта каинова печать. За этот кофе».

Я его спрашивал, за что он получил звание Героя. Он мне начал показывать: «Он так, я так, я так, а он – так…» Оттуда целый эпизод в «Двадцати днях без войны»… Прошел какой-то момент, он написал заявление, что больше не хочет служить, – и в течение года стал вице-адмиралом и командиром дальневосточного училища. Больше я его не видел: он умер.

После Черного Яра мы переехали в Полярный. Когда мы плыли туда, нельзя было проехать – мы долго сидели и ждали. По Кольскому заливу ездили наши катера и бомбили: прошел слух, что там немецкая подводная лодка. А потом все местные бежали к воде, пытались поймать глушеную рыбу. В Полярном была вообще-то налаженная жизнь. Не было проблем с едой. Возвращались наши деревянные суденышки – так называемые тральщики, переоборудованные рыболовецкие суда – и вываливали на пирс кучи трески. Они по дороге бросят трал и привезут тонну рыбы. Штатского населения там было всего человек пятнадцать, и на всех хватало. Моряки говорили: «Мадам, вы ту берите, она жирнее».

Летали самолеты, и мы считали – сколько улетело туда, а сколько вернулось. Белая лошадь возила воду, а американцы и англичане просили ее расседлать, чтобы с ней сфотографироваться. В Военторге продавались только чемоданы и гамаки, особенно необходимые за Полярным кругом.

Может быть, это были самые счастливые дни моей жизни? Крутили кино, был театр Плучека…

Как Плучек там оказался?

Мурманск, известный северный порт, в самом начале войны был уничтожен, остались только улицы землянок, на которых было написано «улица Виноградова» или «улица Пятипалова». Но был почему-то театр, в который немцы не попали. А в Полярном командующий Северным флотом Арсений Головко при Доме флота создал еще более замечательный театр. Его и возглавлял Плучек, которого разыскал сам Головко. Он женился тогда на женщине, которая стала потом артисткой МХАТа Кирой Головко: когда на сцене ей в «Марии Стюарт» отрубали голову, он всегда выходил из ложи – не мог на это смотреть. Только тогда к нему можно было подходить с какими-то делами или просьбами, как рассказывали взрослые.

В том театре я впервые рванул аплодисменты, переходящие в овации. Не так их много было в моей жизни. Было мне года три-четыре. Помню, долго все со мной почему-то суетились, а потом ушли. Я взял пистолет – деревянный револьвер, пошел за ними и вышел в какое-то сильно правительственное заседание… на сцену. Зал был полон. Выхожу я с пистолетом, и все эти добрые дяди вдруг начинают на меня шипеть: «Уйди, уйди!..» А в зрительном зале – невероятный восторг, как будто им слона с бубенчиком привезли. Тогда я остановился и зарыдал. Какая-то артистка ко мне подбежала и что-то сыграла, чтобы меня унести за кулисы: «Коленька!» Унесла. Когда меня уносили, я слышал, как весь зал стоя аплодирует. Моряки!

А однажды в Полярный Исидор Шток привез пьесу про подводников, которую должны были показать подводникам. Те встали во время представления – все, до одного человека – и ушли. Папа поймал кого-то из подводников и сказал: «Как же так, зачем вы оскорбили артистов?» Тот ответил: «Юра, еб твою мать! Я лежал на дне, задыхался, меня бомбили, я Господа Бога молил, чтобы еще раз свет увидеть! Пришел в театр с девушкой культурно отдохнуть – а мне этот хуй показывает, как я лежу на дне, как меня бомбят, да еще я что-то не то говорю! Дармоед, блядь! Скажи ему, чтобы один раз со мной сплавал, а потом мы все в театр придем»…

Папе однажды тоже приказали написать пьесу – историческую, про эти края, как Петр Первый строил порт. Эта пьеса по заказу и была «Россия молодая». Она так

понравилась политуправлению флота, что папу – беспартийного! – сделали комиссаром. Он очень этим гордился. На пьесе «Россия молодая» я не сорвал аплодисментов, а получил по жопе. Когда героя, Рябова, шведы начали пытать, я вскочил и заорал: «Вы тут сидите, здоровые, а нашего советского обижают?!» Меня вытащили, наподдали и больше на спектакли не брали.

Из воспоминаний о пребывании в Полярном потом родились «Торпедоносцы»?

Да. Я помню День Победы, объявленный у нас на сутки позже. Мы побежали на пирс. К нему подошли боком два или три эсминца. Вышел Головко, выстроили какие-то команды, встали английские боцманы с аккордеонами, оркестр, а норвежские моряки встали на колени. Головко произнес речь: «Я благодарен товарищу Сталину за то, что в годы войны он приказал мне командовать такими людьми, как вы». И зарыдал. Его стали отворачивать, уводить, вытирать платком. Я это потом рассказал Герою Советского Союза, консультанту картины «Торпедоносцы» Балашову. Тот ответил: «Ты все выдумал, у тебя детское воображение – ничего этого не было». В два часа ночи раздался звонок Балашова. Он сказал: «Все правильно, до запятой. Я, старый дурак, наверное, был пьян. Я обзвонил всех друзей – речь Головко была именно такой».

Во время войны весь флот, как мне казалось, состоял из наших четырех эскадренных миноносцев и американских кораблей – больших и маленьких. Торпедоносцы были фанерными, и летчики плакали, когда улетали; они улетали навсегда. ИЛы прислали гораздо позже – уже под конец войны. Полярный был длинной бухтой, где дома на нисходящей стороне были двухэтажными, а с другой стороны – одноэтажными. Там жили корреспонденты, человек пять. В том числе папа.

Помните что-то о его деятельности военкора?

Приезжал Константин Симонов, и они с папой ездили на аэродром. У нас был летчик-ас Сафонов, который уже погиб к нашему приезду, а у англичан – летчик-ас Роу, сбивший огромное количество самолетов. Папа с Симоновым поехали брать у него интервью. Англичане тогда летали на парных самолетах. Роу им сказал: «Я вам расскажу, но вы не напечатаете, потому что это не соответствует вашему марксистско-ленинскому учению. Дело в том, что я лорд, а мой второй пилот и мой друг – мой слуга. Я полетел сюда первым пилотом, а он – вторым. Я прилетаю, он мне делает горячее какао и укладывает в постель. Следит, чтобы форма была сухая». Это потрясло папу. А еще вот его что потрясло. Они

спросили у командира полка, не хочет ли он передать что-нибудь советскому народу. Тот сказал: «Народу – ничего. Лучше передайте в Мурманск, что тут простаивает две тысячи прекрасных мужских членов».

То есть эротическая тема в той жизни тоже присутствовала?

У нас в квартире жила краснофлотка, у которой была маленькая комнатка за кухней. К ней иногда приходили офицеры. Помню, как однажды у нее с офицером начались дикие вопли – в чем-то она ему, наверное, отказывала, этому капитану второго ранга. Тогда папа пошел за комендантским патрулем, а один его коллега взял пистолет и стал стучать в дверь. Дверь открылась, высунулась рука с графином, брякнула коллегу по голове графином, отняла пистолет и выбросила в окно. Потом вышел и прошествовал к двери офицер, которого там встретил папа с патрулем. Это был старший помощник с подводной лодки дважды Героя Советского Союза Лунина. Гауптвахте он очень обрадовался, но пришла приписка: «Отсидка после победы».

Приходили конвои. Как правило, это были авианосцы чудовищной величины, набитые железом – танками, грузовиками. Дальше их надо было переправлять в Архангельск, откуда они шли на фронт. Но это были не настоящие авианосцы, а огромные пассажирские пароходы, обвешанные стальными листами, на которые установлены платформы и пушки. На этих американских кораблях устраивались приемы. Туда ездили все, в том числе и мой папа. Ездили с единственной целью: спиздить лезвия. Бритвенное лезвие было бог знает что: подарок на Новый год или покупка любимого, если ты педераст. У них они пачками лежали в любой офицерской уборной. Наши, сколько могут, накрадут – и возвращаются счастливыми. Ведь без этих штук каждый выбритый выходил из дома в газетках – кусочках газеты, которые наклеивали на порезы…

На этих приемах всех поражало, что можно наливать сколько угодно кофе и какао, есть сколько угодно пончиков. Был такой майор Добин, звали его «майор-малолитражка». Он хотел какую-то еду своей жене утащить на берег, а англичанин увидел, закричал: «Собачка, собачка!» – и вывалил ему все объедки со всех столов.

Был полный шок, когда пришли американские корабли, и мы выяснили, что там негры – офицеры. Сержанты, но офицеры! И негры могут идти туда, куда не пускают наших старшин. Нас подозвали какие-то наши крупные офицеры, командиры кораблей – их мы узнавали по другой шнуровке на ботинках, на

крючках – и мне было сказано: «Получишь коробку мармеладу, только пойди в уборную и посмотри: у этого сержанта-негра пипка черная?» Потому что ладони же были белые! Очень важно было нашим это узнать. Я пошел. Заглядываю с этой стороны, с той – он на меня закричал, ногами затопал… Подумал, что я какой-то маленький извращенец. Я заплакал, убежал и свою коробку мармелада так и не получил. А офицеры ничего не узнали. Разочаровавшись, разошлись.

Случилось так, что на американском крейсере родила кошка. Нам подарили котенка, девочку. Мы назвали ее Тутс. Был уже конец войны. Потом мы ее увезли домой. А кошек в Ленинграде не было, они стоили бешеных денег. Тутс убежала через дырку в полу, и Евгений Львович Шварц всем рассказывал: ходит кот с одним ухом, переживший блокаду, который ебет кошку Германов и говорит: «Вчера целую ночь трахал американку – по-русски ни бум-бум». Мы ее искали-искали, но не нашли.

В Ленинград вы возвращались уже после окончания войны?

В последние месяцы войны в Полярном залили каток, и американцы приглашали наших дам покататься. Те хихикали. Над всем Полярным стояли бидоны, вроде молочных, окруженные колючей проволокой. На самом деле это были дымовые завесы. Около них дежурила краснофлотка со штыком. В момент объявления победы кто-то зажег бидоны, и весь праздник проходил в дымовой завесе. Только кашель слышен. Иногда появлялась белая лошадь с пьяными американцами – и исчезала. Блуждали фигуры какие-то, кто-то стрелял, кто-то орал. А у нашего дома на камне спал начальник связи флота, рядом с которым стоял отрезанный служебный телефон.

В те же дни я завоевал большое уважение у смешанной иностранной публики. Была гора, с которой надо было съехать в железном ящике. Летчики летали, а съехать не могли. Я же залез в эту штуку, полетел и разбился… Но как! Меня лечили и говорили, что скоро придет Джек. Я был убежден, что речь идет о собаке. Потом выяснилось, что Джеком звали повара английского адмирала, военного атташе, который жил над нами.

У Джека, кстати, тоже был кот Тутс. Джек мечтал получить русскую медаль «За оборону Заполярья». А получил вместо нее английский орден. Более убитого человека я не видел… У себя на родине он был владельцем ресторана. Когда кончилась война, папа получил от него посылку. Это была книжка, на которой было написано: «Юра, переведи эту книжку, и разбогатеешь! Это очень хороший

писатель». Он прислал нам Шекспира.

Помните дорогу домой?

Помню, как проезжали линию фронта, и мы увидели ее – землю после извержения вулкана. Мы возвращались с Севера всей семьей, в мягком вагоне. Папа, мама, моя сестра Марина, я и Тутс. Вошел проводник и сказал папе: «Гражданин, уберите оружие». У папы был револьвер. А за стенкой ехал английский офицер, который пригласил папу выпить за победу. Папа пришел, они открыли бутылку «Белой лошади». Папа сказал: «У меня ничего нет – только водка. Но она плохая, вы ее не будете пить». Водка называлась ШЗ, это значило «Шереметовский завод», но люди звали ее «Шереметовская зараза». Потом все-таки налил англичанину и себе. Англичанин выпил и закричал: «А-а-а-а!» Я такого не видел никогда. Потом он пошел, умылся, вернулся, принес две бутылки «Белой лошади» и попросил поменяться с ним на две бутылки ШЗ. Папа спросил: зачем, ведь это очень плохая водка, а «Белая лошадь» – хороший виски? Тот ответил: «Я буду показывать в Англии, что могут пить русские».

Когда мы уезжали, стреляли пушки – не знаю почему. Казалось, что закончилась какая-то жуткая эпоха. Сразу после объявления окончания войны мы побежали в магазин – думали, что теперь там не только гамаки, а все что угодно. Но все было по-прежнему. Потом пришли две адмиральши, и магазин вообще закрыли… А еще я совершенно не помню северного сияния. Мне рассказывали, что я его видел, но я не помню. Мне оно представляется как эдакая тюзовская жар-птица с хвостом.

Мы приехали в Ленинград в 1945 году. Помню, мама тут же встретила свою маникюршу. Маляша ее звали.

Блокада как-то отразилась на судьбе вашей семьи?

О блокаде я узнал гораздо позже. Мне о ней рассказал полковник, замначальника уголовного розыска Ленинграда, который плотно занимался этой проблемой. Я к нему пошел не по этому поводу, я к нему пошел по поводу 1935 года – но про те времена он не помнил ничего. Полный провал. Он помнил блокаду, как маму съели на Халтурина. Говорил: «Ну что, вызывал меня Кузнецов, стучал на меня пистолетом… А я знал, что происходило в каких парадных. Нюх у голодного человека обострен, и он чувствует, где крутят

котлетки. За трупоедство мы расстреливали только вначале, а потом не трогали: весь город не расстреляешь. Трупы ело огромное количество людей. Подъезжаешь к “дороге жизни” – там всегда в сторонке лежали трупы с вырезанными ягодицами…»

Ленинград поделился тогда на нормальных людей и ненормальных, ненормальные – на трупоедов и людоедов… Другие люди рассказывали, что выжили, потому что научились ловить крыс – построили специальные крысобойные машинки.

Что осталось в памяти о послевоенном Ленинграде?

Папа получил свою квартиру на Мойке, дом 25, на первом этаже. Меня очень занимало то, что голов прохожих видно в окно не было. Только шляпы проходили. Была хорошая квартира, но разрушенная и очень странная. Там жили замечательные люди во время блокады. Они часть мебели сожгли, а часть принесли откуда-то. Кое-что осталось с тех пор – огромный диван, кресло… Они понимали, что в квартире живут люди, много читающие, и не сожгли всю библиотеку – только по несколько томов из разных собраний. Туда съехались люди, которые не могли жить вместе: либеральная начитанная бабушка Юлия Гавриловна, дедушка по папе Павел Николаевич – николаевский офицер, похожий на купринского персонажа, человек, мягко говоря, недалекий, и его жена Надежда Константиновна. Она попала в 1920-х годах под извозчика, были серьезные переломы, и была у нее эпилепсия. А еще сестра Марина, родители и я. Квартира была большая.

Жизнь не удалась в этой квартире. Дедушка был капитан, бабушка по маме была вдова статского советника – генерала, не воевавшего и служившего в Священном синоде, да еще еврея. Дедушка не мог простить Советской власти того, что она сделала. Бабушка шла в кильватере дедушки. Дедушка любил погладить меня по голове и пошутить: «Это Священный синод? Отца Когана к телефону, пожалуйста!» Один раз это увидел папа. Произошел тихий, но скандал.

А еще жил в доме такой Лешка – немножко придурок, немножко шофер. Все бегали за ним и кричали: «Жид, жид». И я бегал и кричал. Папа меня позвал и спросил: «А что ты кричишь Лешке?» Я говорю: «Так он жид!» Папа говорит: «Понимаешь, ты по маме тоже не совсем не жид. Кроме того, Иисус Христос, самый лучший человек, был жид». Я все это выслушал и побежал кричать

дальше.

Ходит легенда, что ваш отец, будучи одним из самых популярных писателей тех лет, имел какое-то отношение к печально известному постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград»…

Да, когда было знаменитое постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, во всех его первых версиях до 1956 года в одной фразе упоминался и мой папа: «Подозрительно хвалебные статьи Германа о Зощенко». Мама нервно курила. Тогда все издательства порвали с ним отношения. В 1946-м весь ленинградский обком вызвали в Москву. В Кремле повсюду были не лейтенанты, а полковники. Вышли все – Сталин, Маленков, Молотов. Самое интересное, что никакой Ахматовой в первой версии постановления не было. Должна была сгореть поэт Комиссарова, которую мало кто знает. Но Прокофьев, друживший с этой Комиссаровой, вместо нее предложил Ахматову. Так и сделали. В это время Маленков сказал что-то резко неприятное про моего отца, Жданов ему возразил – не твое дело. А Сталин сказал: «Дети, не ссорьтесь», что-то в этом роде. Об этом существуют подробные записи партийного писателя Капицы, переданные мне его сыном, известным кинопродюсером Александром Капицей; я пытался их напечатать, но безуспешно.

Ахматову я видел в первый раз в 1945-м. Бегу по длинному коридору нашей странной квартиры, распахиваю дверь в сортир, а там сидит вся в каких-то серых шелковых кринолинах женщина с чудовищным носом – и на меня смотрит. В эту секунду меня хватает папа, выдергивает на кухню и шипит: «Ты что! Это гениальный поэт!» Я говорю: «Поэт, поэт… Поэты тоже должны крючок задергивать». У папы все были великие.

Кто еще из великих бывал у вас дома в те годы?

Бывал великий Эраст Гарин; он часто у нас ночевал и говорил маме: «Таня, дайте на пивко». А потом, выпив две бутылки, спал на соломенном диване, накрыв лицо газетой. Великий Хейфиц жил у нас в бане, было у него тогда уже две Сталинские премии… Был в те годы в Комарово шалман под названием «Золотой якорь». Там все время играли две пластинки: «По берлинской мостовой кони шли на водопой» и «У мальчика пара зеленых удивительных маминых глаз». Так вот, туда приходил Шостакович, которого папа обожал – хотя ничего не понимал в музыке. Приходили Козинцев, Хейфиц, папа. Все ходили пить боржом! Туда же из Дома творчества могла зайти и Ахматова.

В конечном счете, ваш отец не пострадал из-за «подозрительно хвалебных» статей?

Папа как-то вылез, а в 1949-м случилась еще одна история. Тогда он написал замечательную книгу «Подполковник медицинской службы». Написал на пари: «Никакого антисемитизма в стране нет! Вот я сейчас напишу книжку, где героем будет хороший еврей». И написал. И получил таких пиздюлей, от которых еле оправился… Гранин тогда хохотал – в стране процесс над врачами-убийцами, на каждой странице газет об этом, и именно в это время Юра выпускает книжку «Подполковник медицинской службы»! Вера Панова жила рядом с нами. Когда она прочла «Подполковника медицинской службы», то пришла к папе с двумя бутылками шампанского и сказала, что это «Смерть Ивана Ильича». Когда же начались гонения, то мама – она была пугливая – побежала советоваться к Пановой. А та сказала: «Таня, Юра совершил ошибку. У вас большая квартира – значит, будете сдавать две комнаты, а в двух комнатах жить».

Я же запомнил, что меня, когда у папы были неприятности, отправили в пионерский лагерь. Так, правда, со многими поступали. Но все родители ездили со своими детьми, а меня отправили с сестрой. У меня с ней разница лет шесть, ей на меня было наплевать.

Значит, вы впервые оказались где-то отдельно от родителей, практически в одиночестве?

Да. Я был большого роста и попросился в группу постарше. А я даже шнурки на ботинках не умел сам завязывать: в них ложился спать, в них вставал, в них даже купался. Потом на мне нашли тридцать шесть нарывов, у меня была чесотка…

Там, в лагере, деревенские жители нанимали нас за деньги – за небольшие, копеек за двадцать или сорок – срезать немецкую проволоку в лесу. Она была разноцветная, очень красивая. Лес был заминирован, сами они туда не ходили. А ходил я и еще один дурачок. Бегал я и на паром халтурить. Кроме того, взрослые мальчики пересылали через меня девочкам всякие гадости. За это меня били, а я не понимал, за что. Научился материться. Кончилось тем, что я попал в лазарет. Когда меня выписали, я лег под ледяную колонку – специально, чтобы заболеть и снова туда попасть. Там меня и застала мама, когда приехала за мной. Я провел там месяц… Папа маму тогда чуть не убил.

Был там мальчик, старше меня, по фамилии Венцель. Он ухаживал за мной. Иногда развязывал мне шнурки, подкармливал меня чем-то. Без него я бы, наверное, умер… Много лет спустя в один прекрасный день моя подруга – впоследствии диссидентка и писательница – позвала меня в гости и попросила о помощи. Сказала, что выходит замуж за Мишу, но ее бывший любовник грозится, что передаст Мише все ее письма, и тогда случится ужасное – все расстроится. Ты, говорит, пойди к нему. Он тебя увидит и сразу сам все отдаст. Я пошел по адресу, нажал на звонок. И мне открыл этот Венцель. Он даже не посмотрел мне в глаза. Я ходил в полублатном прикиде, в широких матросских брюках, здоровый был. Я тогда эспандер выжимал больше в два раза, чем милицейские полковники – гости моего папы. И Венцель сразу испугался, не увидев моего лица, повернулся, достал эти письма и отдал мне. Я ушел. Думал, надо вернуться, отдать ему… Но не вернулся. Это воспоминание – из числа постыдных.

Юрий Герман. Архангельск. 1942 год

Юрий Герман. Сосново. 1963 год

В Комарово. 1940 год.

«Мы там поселились, и это были очень счастливые дни нашей жизни».

Изгнание из рая было, видимо, недолгим – вы снова вернулись в Комарово.

Счастье было там. Никогда не было пасмурной погоды. Всегда – тени от деревьев на подмерзшем снегу. Папа любил маму, а мама любила папу, и я был

третий, которого любили. Только я молился, когда жил у Шварцев, чтобы на завтрак перестали делать яичницу на сале – меня от нее тошнило. Но я был интеллигентный мальчик и ее съедал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/anton-dolin/german-intervu-esse-scenariy-10751971/?lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

---

Купить: https://tn.knigapoisk.com/ru/anton-dolin/german-intervyu-esse-scenariy-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить